Советская Татария
г. Казань
19 АПР 1988

От автора. *Сегодня в Татарском театре оперы и балета имени М. Джалиля состоится театрализованное представление «Музыкальная мозаика», посвященное памяти народного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии ТАССР имени Г. Тукая профессора Нияза Курамшевича Даутова.*

О людях искусства судят по тому, что ими создано. Однако интерес к личности самого художника часто бывает не меньшим, чем к его творчеству. И это естественно, ибо и через творчество, и через судьбу мы постигаем сокровенный и удивительный мир поэта, композитора, артиста.

Подобный интерес всегда вызывал к себе Н. Даутов.

Нередко где-нибудь на гастролях в свободное время он рассказывал нам, ученикам и коллегам по театру, что-то из своей жизни. Как правило, мы, жадно слушавшие, упрекали Маэстро в том, что он не пишет мемуаров.

Однажды он рассказал поэтическую историю, случившуюся с ним в Крыму. Фабула, возможно, и не была замысловатой, но само настроение словно взывало к литературной записи. Я сказал, что если Маэстро не хочет записать его сам, то это сделаю я.

Через некоторое время я дал прочитать Ниязу Курамшевичу этот рассказ, который назвал «О чем рассказал Маэстро...»

Эдуард ТРЕСКИН

О ЧЕМ РАССКАЗАЛ МАЭСТРО...

— А знаете, всегда немного грустно посещать те места, где бывал прежде. Порой вспоминаешь города, улицы, которые вели тебя куда-то, дома, что дарили знакомства, встречи, и хочется бросить все, бежать на вокзал, купить билет и поехать... все равно, куда.

Маэстро улыбнулся, внезапно замолчал и стал смотреть в окно. Синий лес кружил вдоль дороги, а дальше медленно плыли за вагоном уже темные вечереющие предгорья Урала.

Сибирские гастроли кончились, и почти сутки оставались до дома. В купе и коридоре стояли, сидели, курили, болтали, пили чай, играли в шахматы или карты Хозе и Виолетты, Ленские и Германы, Тореадоры и Кармен, Мефистофили и Гретхен. Никто не пел. Даже не напевал.

— Так вот, — продолжал Маэстро, — грустно бывает приезжать. И улицы вроде не такие зеленые и манящие, и дома какие-то другие, и людей прежних нет, а если кого и встретил из знакомых — то впору снова знакомиться. Все — точно в немом черно-белом кино.

— А вот у меня не так,— сказала Мадонна. — Мне нравится узнавать. Я хожу и все узнаю: здесь сейчас будет магазин, а направо пойдешь — рынок. И так интересно!

— Не перебивай Маэстро, — бросила с недовольством Прима. —У тебя вечно то магазины, то рынок.

Маэстро чуть виновато глянул на ту и на другую, как бы пытаясь примирить непримиримое.

— Но странно, — продолжал он, — иногда и грусти не бывает. Вот проехали город, в котором я прожил целых двадцать лет — и каких лет! И что, вы думаете, я испытывал, когда бродил по перрону, на котором меня столько раз встречали едва ли не с духовым оркестром? Ничего. Совершенно ничего. Наверное, это оттого, что и здесь — как везде — я не был счастлив.

— Вы не были счастливы? Вы, Маэстро?! — изумленно выгнула бровь Прима.

— Ну да, что же в этом особенного? Как сказал поэт... Хотя был в моей жизни случай, когда вторая встреча с городом принесла больше, чем первая. Но это — давняя история.

— Расскажите, расскажите, пожалуйста! — умоляющим и бесхитростным голосом полупропела Мадонна, не забыв искусно подключить грудной резонатор.

Все, кто сидел в купе, лежали на верхних полках и стояли у двери, шумно поддержали ее. На мгновенье возникла пауза, перебиваемая синкопами колесного перестука да звяканьем ложечки в пустом стакане.

— В таком случае придется вернуться в довоенную пору. В 1940 году мне, тогда еще студенту Московской консерватории, страшно повезло: я заболел воспалением легких, и профком выделил мне бесплатную путевку в Крым.

Помню, угольно-дымный тревожный запах вокзала в Симферополе, смешанный с легким и сладким степным воздухом, сразу опьянил предчувствием чего-то нового, неизведанного. И голубой автобус, который вез меня в санаторий, и пассажиры его — в белых панамах и соломенных шляпах, и аккуратные пыльные сады и виноградники, и горы, издали казавшиеся бутафорскими, из папье-маше, а вблизи такие прекрасные, и море, неожиданно узкой бирюзовой полосой сверкнувшее из-за поворота, и, наконец, Ялта в мглистой дымке долины, с ее зеленью, старыми особняками вдоль набережной и узкими крутыми улочками, где невесомые дачки лепились друг к другу, — все это было только прелюдией к тому, что меня ждет.

И еще мне тогда казалось, что и лето, и море, и Ялта, и этот тихий тенистый переулок, по которому я иду, и весь мир, конечно же, не случайны, и не может быть одинокой и покинутой всеми живая душа — ведь кому-то же она необходима!

И пусть я был один, все думалось: вот-вот это одиночество кончится и перельется во что-то большое и радостное, чему я не знаю названия. Не скрою, это было очень приятное чувство. Бродил ли я по городу, читал, купался или просто лежал на берегу — меня не покидала уверенность: чтобы быть счастливым, ничего искать не надо, надо быть самим собою, и все придет само.

Меж тем время отдыха шло — исчез кашель, я окреп, хорошо спал и полюбил далекие заплывы в море, откуда так приятно смотреть на берег, на эллинские горы цвета неподжаренного кофе, на колокольню Иоанна Златоуста, которую все-таки не взорвали, так как она служила ориентиром для судов, на суда в порту, живущие своей важной и таинственной жизнью. В эти минуты мне хотелось петь не ради того, чтобы «заниматься искусством», а просто — петь от молодости, от силы, испытывая тугую дрожь наслаждения в горле.

Я познакомился с несколькими сверстниками, отдыхавшими в санатории, у нас образовалась компания, мы вместе ходили на пляж, играли в волейбол, шутили, смеялись. Как-то вечером сидели в беседке над морем, смотрели на молодую луну, низкие звезды и разговаривали почему-то тихо-тихо, и все время был слышен ровный сонный плеск волн, шуршание крупной шероховатой гальки. Говорили о кино, о театре, музыке и сбились на разговор о смысле жизни. Вернее, стали выяснять, что в жизни самое главное. Кто говорил: главное — это труд, кто наоборот — хороший отдых, кто был за поэзию, а кто за любовь, кто-то считал, что главное — это мировая революция, а кто-то—что важней всего здоровье.

Когда дошло до меня, то я сказал: не знаю, мол, что в жизни главное, и, по-моему, это хорошо, ибо в противном случае мне было бы просто неинтересно жить. Все были в восторге от того, что мне пришло в голову.

— В самом деле, Маэстро, вы здорово сказали! — влез в разговор бас Балуха, который представлялся чаще всего как «бассо-ассолито Балухини» и сам себе после арии в спектакле довольно громко говорил «браво».

— Я вот раньше думал,— вещал абсолютный бас, — главное — это побольше партий набрать в репертуар, а там — лепить образы и шлифовать мастерство. Все перепел, вылепил и отшлифовал — а звания нет и нет. Теперь для меня главное — вроде бы звание получить, ну а когда получу, что будет главным тогда? Вот вопрос!

— Не перебивай Маэстро! — сердито вступила Прима. — И вообще можешь успокоиться: никакого звания тебе никто не даст за твой последний спектакль, когда «браво» себе ты выдал громче, чем спел.

Балуха открыл рот, чтобы возразить, но не успел.

— Постойте, друзья, но самое сильное высказывание было все же не мое. Валера Антонов, студент-медик из Москвы, скромно и трезво заявил: в жизни главное — это деньги. Можете себе представить, что значило сказать такое в то время? Его, конечно, просто заклевали, назвали мещанином, обывателем, родимым пятном, а Маша, девушка, которую он чаще всех приглашал танцевать, заплакала и убежала.

Впрочем, я думаю, Валера нас эпатировал, разыгрывал. Валера вообще был человек своеобразный, прекрасно знал стихи, в разговоре цитировал и Блока, и Тютчева, и запрещенного тогда Есенина, но никогда я его не видел с книгой в руках — все время между едой и сном он где-то пропадал, а потом выяснялось — он ездил в Гурзуф посмотреть на пушкинский кипарис и шаляпинскую скалу, или лез на Ай-Петри, чтобы увидеть «весь Крым», или с кем-то договаривался, чтобы попасть в Массандровские подвалы и попробовать знаменитое «Пино-гри» урожая 1935 года.

Я не понимал такого отдыха. Напротив, я полагал — надо уметь остановиться, замереть, как бы слушая тишину и ничуть не уставая, видеть каждый день одно и то же — и все такое разное — море, видеть все те же кедры и итальянские сосны в парке, привычные и такие непостижимые в своем замкнутом совершенстве, и, каждый вечер идя по дороге, дышать горечью сухих трав и слышать неумолкающий высоковольтный звон цикад.

Август был на исходе, билеты куплены, оставалось два дня до отъезда в Москву, когда неутомимый Валера сообщил, что сегодня он едет в Бахчисарай взглянуть на фонтан и привезти яблок, а завтра «поставит точку» — идет в Дом Чехова, и кто хочет, может к нему присоединиться.

Сердце у меня замерло— я и сам собирался пойти туда именно завтра, отложив этот визит на самый последний день, как бы набираясь смелости встретиться воочию с человеком, которого я боготворил с юности.

Утро следующего дня было пасмурным, даже дождик побрызгал, но ветер разогнал облака, и выглянуло солнце. Правда, сегодня оно светило чуть по-осеннему, не так жарко, как обычно. А может быть, это просто чудилось, потому что назавтра нужно было уезжать. Мы пошли в Чеховский дом пешком.

Узкая длинная улица волнисто — то поднимаясь, то ныряя вниз —все же вела вверх, мимо одноэтажных каменных домов, изгородей и виноградников. Я думал о том, как по этой самой улице совсем недавно — каких-нибудь сорок лет назад! — шел Чехов, скажем, с Буниным. Почему-то мне представились вечер, горы, слившиеся с темным небом, неяркие огни в окнах, цокот пролетки по булыжной мостовой и несуетный, задушевный разговор двух друзей, для каждого из которых этот вечер был одновременно и их общим, и своим, трагически неповторимым.

День, начавшийся с дождя, принес невезение — Дом был закрыт для посетителей. Я ругал себя за то, что столько времени оттягивал приход сюда, и немало изумил всю честную компанию, когда подошел к крыльцу, наклонился и поцеловал теплый шершавый камень.

«Ты сошел с ума! Нельзя в наше время быть таким сентиментальным, особенно комсомольцу! А потом нечего переживать, можно прийти и завтра».

Увы, мой завтрашний поезд отправлялся из Симферополя утром, и на завтра рассчитывать не приходилось.

Рано утром я уехал, твердо уверенный: на будущий год непременно вернусь и первым делом пойду в Аутку. Ну а что случилось на будущий год, вы знаете, поэтому в Ялту я попал через много лет.

(Окончание следует).